

«трудового энтузиазма», пародируя ее, вскрывая ее абсурдный смысл. В шестидесятые годы писателями-«деревенщиками» была предпринята попытка восстановления распавшейся «связи времен», попытка возвращения к духовному смыслу трудовой деятельности в жизни нации, и вполне закономерно, что решались эти задачи путем обращения к жизни деревни и русского крестьянина в XX веке.

Прежде всего, С. Залыгину, В. Белову, В. Астафьеву, В. Шукшину, В. Распутину необходимо было показать особенность крестьянского труда, его принципиальную непохожесть на труд производственного характера. В повести С. Залыгина «На Иртыше» (1964), во многом определившей социальную направленность деревенской прозы, «ворох мужиковских дум» связан с тем, что «ломку» в революции крестьянину делают куда больше, чем «сознательному пролетарию», поскольку «рабочий при царе по гудку на завод ходил и по сю пору ходит. Ему тот же гудок жизнь определяет: отгудел смену, он картуз на лоб — и пошел в казенную квартиру...» [3].

Никакого «энтузиазма» в крестьянском труде не может и не должно быть. Опираясь на опыт народной этики и эстетики, соотнося труд и отдых крестьянина с кругооборотом природной жизни, В. Белов специально оговаривается: «В народе всегда с усмешкой, а иногда с сочувствием, переходящим в жалость, относились к лентяям. Но тех, кто не жалел в труде себя и своих близких, тоже высмеивали, считая их несчастными. Не дай бог надорваться в лесу или на пашне! Сам будешь маяться и семьюпустишь по миру. (Интересно, что надорванный человек всю жизнь потом маялся еще и совестью, дескать, недоглядел, оплошал). Если ребенок надорвется, он плохо будет расти. Женщина надорвется — не будет рожать. Поэтому насады боялись, словно пожара. Особенно оберегали детей, старики же сами были опытные» [1].

Поэзия, красота крестьянского труда — особая тема писателей-деревенщиков. Достаточно вспомнить «Последний поклон», «Царь-рыбу», «Оду русскому огороду» В. Астафьева. Но, и это принципиально важно, картины одухотворенной работы человека на земле связаны чаще всего с воспоминаниями детства, личной памятью писателя, которая бережно хранит то, что уже ушло безвозвратно. Русская литература советской эпохи не дала и не могла дать ничего похожего на знаменитую толстовскую картину косьбы, поскольку единение человека с землей, миром и міром было насильственно прервано в XX веке. Писателям, генетически связанным с русской деревней, было важно сказать о прощании с некогда устойчивым, казалось, незыблемым ладом жизни.

Примечания:

1. Белов В. Лад: Очерки о народной эстетике. Л., 1984. С. 10.
2. Бердяев Н. А Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 7.
3. Залыгин С. На Иртыше // Новый мир. 1964. № 12. С. 14.
4. Леонов Л. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1961. С. 322.
5. Коротаев В. И. Судьба «русской идеи» в советском менталитете (20-30-е годы). Архангельск, 1993. С. 8.
6. Струве Г. Русская литература в изгнании // Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж, 1984. С. 7.

© Пономарев Е. Р.
г. Санкт-Петербург

ЛИТЕРАТУРА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Литература русской эмиграции — уникальный по природе своей феномен. Отпочковавшись от единой русской литературной традиции, эмиграция создала собственную — во многом ориентированную на прежнюю, дореволюционную, во многом же оригинальную, развивавшуюся по собственным законам. Остраненное положение литературы русской эмиграции, ее неслиянность ни с советской литературой, ни с западными традициями, позволяет

В отличие от прочих литературных традиций, литература русской эмиграции имеет четко очерченные границы: ее начало — 1920-е годы, окончание — 1991 год. На протяжении этого периода она надежно отграничена как от советской литературы, так и западных литературных традиций, в окружении которых находится. Таким образом, в силу своей локализованности и завершенности, она может быть рассмотрена как модель литературного процесса вообще — от возникновения до окончания. С теми, правда, оговорками, что и начало и конец ее уходят в традицию русской литературы. Литература русской эмиграции позволяет моделировать жизнь мотива или структуры, практически не учитывая внешних, посторонних влияний. Она позволяет отслеживать перетекание семантических оттенков из текста в текст, из одной парадигмы в другую, наблюдая при этом их приспособляемость к новой литературной эпохе. Сравнивая литературный процесс 1920—30-х годов с процессом 1950—60-х и затем 1980-х (что отражает несколько условное деление на первую, вторую и третью «эмиграции»), исследователь может моделировать экспериментальные литературные ситуации, отслеживая структурные изменения в обособленной литературе. Наконец, литература русской эмиграции — это сравнительно небольшой, закрытый список сочинений, позволяющий исследователю знать и держать его весь в памяти.

Таким образом, литература русской эмиграции может быть изучена в единстве литературного процесса, от начала до конца, как определенный отрезок в истории русской литературы. Здесь необычайно важно освободиться от расхожих стереотипов, во многом созданных самой эмиграцией. Так, мифу о чрезвычайной сложности духовного подвига эмиграции следует противопоставить научное изучение поэтики эмигрантских текстов. Столь же осторожно следует относиться к стереотипному делению эмиграции на три волны. Это деление подчас удобно в плане хронологическом и структурном, но эмигрантская идея о сущностных, духовных различиях трех волн должна быть внимательнейшим образом пересмотрена. Водораздел, традиционно проводимый между первой и второй эмиграциями, как кажется, имеет далеко не столь важное значение, как идейное расхождение прежних эмиграций с третьей волной. Наиболее конструктивной кажется точка зрения, исходящая из внутреннего единства эмиграции: характерно, что Владимир Максимов проповедует во многом те же идеи, что и И. А. Ильин, а роман Максимова о Колчаке «Заглянуть в бездну» пропитан тем же духом, что и офицерские хроники П. Н. Краснова.

Литература русской эмиграции может быть воспринята как лучший пример идеологической литературы, каждая клеточка которой пропитана политическими идеологиями. Во-первых, ее можно рассматривать в параллели к идеологической советской литературе — как литературу в основе своей антисоветскую. Литература русской эмиграции 1920-х — 1950-х годов служит рупором антисоветской философии, художественно перерабатывая идеи И. А. Ильина, евразийства, Г. П. Федотова, Н. А. Бердяева и многих других. Позднее, в 1950—1980-е годы, она практически в полном составе принимает участие в идеологической войне с Со-

ветским Союзом, ориентируя литературные тексты а задачи пропаганды. Этот антисоветский «социальный заказ» (не спускаемый сверху, как в СССР, а вычитываемый из текста повседневности) пронизывает даже шедевры эмигрантской литературы — такие, как «Дар» В. В. Набокова или «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина, — не говоря уж о так называемой литературе «второго и третьего ряда» (романы Н. Н. Брешко—Брешковского, например). Литература русской эмиграции, таким образом, наряду с советской литературой едва ли не самый яркий пример соотношения идеологического и эстетического в беллетристике. Однако, в отличие от условий бытования советской литературы, литература русской эмиграции — пример идеологической литературы в условиях демократии и свободы, что еще более интересно.

Во-вторых, эмигрантская периодика внимательнейшим образом читает и комментирует тексты советской литературы. Достаточно вспомнить комментированное чтение сочинений Ленина и Горького о Л. Н. Толстом в книге И. А. Бунина «Освобождение Толстого» или активную полемику по поводу романа В. Д. Дудинцева «Белые одежды» во всех эмигрантских журналах. Полемическая зависимость от метрополии с очевидностью проявляется во многих эмигрантских текстах на уровнях сюжета, темы, мотива. Например, в поздней лирике В. В. Набокова и Б. Л. Пастернака. Весьма интересны стилистические совпадения у Сергея Максимова и В. Т. Шаламова, Ивана Елагина и Е. А. Евтушенко (Елагиным же и отмеченное). Иногда стилистические пересечения накладываются на пересечения мотивные, образуя сложные взаимосвязи. Так, в поэзии Ивана Елагина 1970—80-х годов (при сохранении евтушенковских интонаций) встречаем ряд мотивов, чрезвычайно напоминающий мотивный ряд В. С. Высоцкого. Пристальное внимание, с которым на всех этапах развития эмигрантская литература рассматривает литературный процесс в СССР, позволяет одновременно говорить и о внутреннем единстве русской литературы, и об ориентированности эмиграции на советскую культуру, выражавшуюся прежде всего в отталкивании от нее, и (в ряде случаев) даже об «отраженном свете» эмигрантской литературы. В противовес этим весомым положениям можно предложить рассмотрение противостояния «литература эмиграции — советская литература» как противостояние пессимистического мировоззрения оптимистическому, объединенных при этом в единое целое трагизмом доминирующих апокалиптических нот.

Так или иначе, необходимо особое исследование, которое бы структурировало сложный параллелизм отношений советской литературы и литературы русской эмиграции. Необходимы также специальные сравнительные характеристики тех или иных авторов метрополии и эмиграции, с учетом разностойности и многоплановости советской литературы.

Рассмотрение литературы русской эмиграции как литературы идеологической позволит по-новому взглянуть на проблему соотношения эстетического и социального в литературном творчестве, менее поверхностно, чем это принято сейчас, трактовать проблему «социального заказа», с позиций современной социологической теории рассмотреть вопрос о социологических методах в изучении литературного процесса.

Взаимоотношения эмигрантской литературы с западными литературами не менее важны. Практически полное отсутствие контактов между эмигрантской литературой и литературами западных стран, в которых эмигранты оказались, на личном уровне, невнимание к важным процессам, происходящим в западных

литературах, наряду с отсутствием интереса западных литераторов даже к мэтрам русской литературы, оказавшимися в эмиграции, позволяет говорить о ситуации «взаимного отчуждения» русской эмиграции и западной культуры. И. А. Бунин развивает в своем творчестве концепцию Памяти, не обращая внимания на параллельное развитие идеи у М. Пруста и Дж. Джойса, французские знаменитости платят ему ответным невниманием (ситуация не меняется даже после присуждения Бунину Нобелевской премии). Шестидесятничество в Союзе, отмеченное повальным увлечением американской литературой (прежде всего творчеством Э. Хемингуэя), оттенено отсутствием какого-либо интереса к эксперименту американской прозы у русской эмиграции в США, издающей основные эмигрантские журналы. Ответное невнимание американцев тут уже куда менее удивительно. И наконец, невидение друг друга, ставшее нормой для эмигрантов третьей волны и западных литераторов 1970—80-х (связанное, возможно, с разным пониманием задач литературного творчества: трудно представить себе Кена Кизи сотрудником радиостанции «Свобода»). Все эти примеры свидетельствуют о том, что феномен «взаимного отчуждения» вряд ли объясним техническими случайностями — незнанием русскими иностранных языков и мировой литературы, замкнутостью того или иного литератора, низким литературным уровнем второй и третьей эмиграции. Его смысл, по-видимому, укоренен в особенностях национального менталитета той и другой стороны, в истории взаимоотношений России и Запада, в глубинных особенностях русской и западных культур. Этот вопрос, уже затрагивавшийся в некоторых работах по истории культуры, требует непредвзятого подхода и пристального изучения. Ответ на него, без сомнения, будет чрезвычайно важен как для культурологических дисциплин, так и для дисциплин, связанных с национальными психологиями и геополитикой. Ответ этот также предложит новый ракурс для сравнительного литературоведения новейшего периода.

Итак, изучение литературы русской эмиграции должно быть целостным и контекстуальным. Те небольшие успехи, сделанные в области изучения литературы русской эмиграции в последнее десятилетие, — лишь отдельные пятнышки на фоне неизученного пласта «другой», второй русской литературы двадцатого столетия.

© Пращерук Н. В.

г. Екатеринбург

**ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ, СМЕРТЬ — ОБРЯД
(О РАССКАЗАХ А. ЧЕХОВА «АРХИЕРЕЙ»
И И. БУНИНА «ХУДАЯ ТРАВА»)**

Названные произведения традиционно рассматриваются в контексте повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» как открывающей в литературе этого периода тему последних дней человека, переживания им приближающейся смерти. Не случайно сам Бунин в одном из писем 1913 года назвал «Худую траву» «мужичий Иван Ильич». Однако пафос повести Толстого несколько иной: художнику важнее всего было раскрыть горький процесс осознания героем того, что «он прожил свою жизнь не так, как должно было», и сейчас, в настоящем, у него нет ничего, что могло бы его утешить и потому ему так нелегко примириться с наступающей смертью.